

И.Ю. Кобзев

**ПИСЬМА СТРАННИКА
(Эпистолярная повесть)**

*Посвящаю повесть Александру Секацкому
И.К.*

*«...может собственных Платонов...
Российская земля рождать»
(М.В. Ломоносов)*



Григорий Саввич Сковорода 1722 - 1794

1

«Из села Ивановки в Петербург, 6 мая 1794 г.
Здравствуй, Михаил, мой дражайший друг!
Старость моя страдает, но страдает тленное тело. А как тебе ведомо, «плоть ничто же...»
Вот и снова весна веет в окно теплом и яблоневым цветом, и душа жаждет дороги, но
тело мое уже не в силах быть ей верным товарищем. Какое странное, и манящее, и
чудесное слово: дорога! Сколько родилось в ней чудных замыслов, пиитических грез,
сколько перечувствовалось дивных впечатлений! Ты спрашиваешь меня, почему я
провел свою жизнь в странствиях? Отвечу так: по сродству моей души. А может быть и

по зову крови тож, ведь мой пращур хан Крымский Шан Гирей был степняком-кочевником. И будучи потомком номада я ведаю, как бежать мира, который многими способами повязывает нас. Истинный номад, обитатель неприкаянности, готов ежедневно заново начать свою жизнь. Он ускользает из паутины судьбы, сплетенной Парками, и посему его время и его пространство принадлежат только ему и сшиты по его мерке. В таком хроносе-топосе легче заглянуть внутрь себя, в свой микрокосм, то есть в своего внутреннего человека. А ведь в том и состоит призвание философа: познать себя самого, и сыскать себя самого, и найти человека – все сие одно значит. Философ и есть истинный номад в сей жизни, хотя бы и жил он на одном месте, подобно кинику Диогену, жившему в бочке. Он разорвал путы семейные, сбросил кандалы общественного долга, порвал цепи пустых привязанностей и стал истинным номадом, вся жизнь которого заключена в дороге – дороге к истине. Вот посему я и избрал для себя жизнь странника. Хотя теперь я скорее подобен Диогену в своей комнатке-бочке, но это от немощи тела. А покуда силы были, я всегда уходил. Как колобок в сказке, помнишь: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел... Так и бегал от мирских соблазнов. И на гробе моем желал бы иметь только одну надпись: «Мир ловил меня, но не поймал»

Будь здоров, наидражайший!
Твой слуга и друг Григорий.»

...Сковорода отложил перо и посмотрел в открытое окно. Ветви яблонь, полные цветов и пчел, жужжали прямо в окно. Сладостный аромат вливался в комнату и в душу, будил воспоминания об иной весне. Вспомнилась Прага, утонувшая в белом мареве цветущих яблонь, запах сирени из-за каждого забора. Он был молод, кровь номада звала его в путь. Он не смог досидеть до конца семестра в университете и отправился на юг, еще не четко представляя себе куда именно он пойдет. Знал только, что впереди его ждет лето и счастье пути.

Через три дня он оказался в небольшом городке с длинным названием Чешские Будеевицы. В городке было два собора, две башни с часами и просторная площадь с самым большим в Чехии фонтаном посередине. Остановившись в маленькой гостинице возле огромной городской мельницы, юный Сковорода почувствовал страшный голод и направился в центр города. Улица вела его вдоль длинного здания с маленькими окошками, которое очень кстати оказалось господой – местной харчевней. Называлась она странно для харчевни: «Мясные лавки». Но пахло из нее очень вкусно. Сковорода вошел в гулкое чрево харчевни и его обдало кислым паром, запахом копченого мяса и пива. Он поперхнулся своей слюной и плюхнулся на лавку у первого свободного стола. К нему сразу подлетел половой и поставил перед ним запотевшую кружку пива с такой густой пеной, что ее можно было резать ножом. Юный кочевник погрузился в эту пену и ощутил, как в него втекает холодная радость жизни. Он успел только кивнуть половому, который спросил его что-то вроде «Вепршо-Кнедло-Зело?». А когда он оторвался от кружки и вытер ладонью пенные усы, перед ним уже стояла тарелка с этой едой: копченое мясо, кислая капуста и вареное тесто, которое называют здесь кнедликами. Григорий набросился на эту еду с одной единственной мыслью – как бы прерваться и сделать следующий глоток пива. Он жевал с закрытыми от удовольствия глазами и не заметил как к его столику подошел новый посетитель:

- Доволи Вашноста пршиседноут к его столу?

Сковорода посмотрел на подошедшего и пробурчал что-то любезное набитым ртом.

- Декуи пекне! – вошедший снял треуголку вместе с париком и повесил ее на вбитый в стену крюк. Потом он расстегнул свой камзол и махнул рукой половому, показав ему жестом «пить», и произнес то же заклинание: «Вепршо-Кнедло-Зело!». Затем он

повернулся к жующему студиозусу, приветливо улыбнулся, внимательно посмотрел на его камлотный кафтан и спросил:

- Сним зептат, пан йе полак?

Григорий прожевал и ответил:

- Пан йе рус,

- О! Рус! Тады? Какими судьбами, как говорят русские?

Григорий удивленно посмотрел на собеседника. Это был пожилой уже мужчина, на вид лет сорока-пятидесяти, с пухлым розовым лицом младенца, с такими же младенческими голубыми глазками слегка на выкате, с открытой младенческой улыбкой на толстых губах. С первого взгляда можно было подумать, что и ум у него младенческий, но позже Сковорода приметил в его глазах быстрый прищур и проблеск зрелой мысли. Незнакомец слегка наклонил голову и церемонно представился:

- Позвольте отрекомендоваться: Йозеф Талирж, торговец фарфором по предначертанию судьбы, поелику мое имя Талирж означает по-русски «тарелка», а посему человек с таким именем может быть только гончаром или торговцем посудой. Позвольте узнать Ваше имя, молодой человек?

- Григорий Сковорода,

- Сковорода? Вот это встреча! Вы – сковорода, а я - тарелка. Сковорода по-чешски будет панев. Пан Панев! – Талирж захохотал, быстро став из розового младенца пунцовым. Он замахал рукой, достал платок из-за обшлага камзола и вытер выступившие на глазах слезы, потом промокнул вспотевшую лысину и нос, громко высморкался и снова обратился к Сковороде:

- Не сочтите сей смех оскорбительным для себя, сударь. Просто по-чешски это звучит зело забавно. Ну а ежели Вы, милостивый государь, имеете такое имя как Сковорода, то и род занятий Ваших должен быть близок моим занятиям. Позвольте спросить, чем изволите заниматься, пан Сковорода?

- Я студиозус и странствующий философ,

- Философ?! Русский, да к тому же философ! Это нечто совсем невозможное!

- Отчего же невозможное?

- Оттого, милостивый государь, что имена даются нам Богом и родителями неспроста: в имени нашем таится зерно судьбы нашей. И ежели мы хотим достигнуть в этой жизни довольства и счастья, то обязаны прислушаться к своему имени и избрать способ жизни, отвечающий нашему имени. Повар Сковорода – это звучит! А философ Сковорода, простите мне мою откровенность, сударь, это не звучит. Мое убеждение состоит в том, что род занятий должен быть сродственен имени человека – в этом секрет счастья, если угодно!

- Да, Вы философ, пан Талирж! - усмехнулся Григорий, с удовольствием слушая болтовню соседа по столику.

- Благодарю за комплимент, пан Сковорода, но я не философ, просто я живу давно и много повидал на своем веку. Даже Россию Вашу повидал и язык выучил. Лет двадцать тому, еще при государе Петре Великом, вояжировал я в Петербург с грузом фарфора из Саксонии по заказу князя Меншикова. Вот тогда я и пожил в Петербурге три месяца, чуть не помер там из-за чрезмерного питья хлебного вина, сиречь водки, которое зело распрстранено было при дворе князя Меншикова. С тех пор имею отвращение к сему зелью. И уважение к России: невероятная, страшная и притягательная страна! Я две недели ехал со своим грузом от границы Польши до Петербурга, а оказалось, что я снова нахожусь на западной границе России! А до восточной ее границы, которая суть Пацифик, надо два года ехать! Вот это страна! Разве нужны философы в такой стране? – в такой стране нужны, как это - козакен, которые странствуют на восток, открывая неведомые земли!

- А ведь я и есть козак, пан Талирж, - снова усмехнулся Скворода. И заметив изумление на лице собеседника, добавил – и все предки мои были козаками.
- Козак – философ? – всплеснул руками торговец – Дас ист унмеглихь! Нет, это невозможно понять! Я понимаю, почему немцы так склонны к философии. А что им остается, если живут они в таких крошечных княжествах, где отправившись прогуляться, можно невзначай пересечь границу чужого княжества и заплатить за это пошлину. Вот они и сидят дома, никуда не ходят, а предаются умственным путешествиям вглубь книжной философии. Но русские!? На что Вам философия, молодой человек?

Скворода серьезно посмотрел в глаза собеседнику и ответил:

- Поелику философия устремляет весь круг дел своих на то, чтоб дать жизнь духу нашему, благородство сердцу, светлость мыслям, как главе всего. Когда дух в человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все светло, счастливо и блаженно. Для того философия и потребна.

- Да Вы эпикуреец, сударь! Что Вы удивляетесь, я ведь тоже кое-что прочитал за свою жизнь. И не на одном капитале жизнь свою основал... Хотя и на капитале тож: как это говорят по-русски – рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Никто не может избежать сего.

- Лучшее – враг хорошего, - улыбнулся Скворода.

Пан Талирж даже поперхнулся пивом, услышав эту фразу. Он вытер пену с губ ладонью и растерянно переспросил:

- Как, как Вы сказали? Повторите,

- Лучшее – враг хорошего.

- Это почему?

- А потому, сударь мой, что счастье человека суть необходимая необходимость. Но такова уж есть неизреченная милость Божия, что сотворил он все необходимое недорогим, а дорогое ненужным. В аду все делается то, что ненужное, что лишнее, что не надобное. Вот человек, желая все лучшего и все большего, и обращает свою жизнь в подобие ада.

Пан Талирж замолчал, подперев подбородок рукою и глядя на оседающую пену в своей кружке. Потом он поднял глаза на Сквороду, и взгляд его больше не напоминал о младенце, ибо в нем явно читалась тоска прожитых лет:

- А знаете, сударь, Вы правы, и Вы настоящий философ.

Он отхлебнул еще пива и вдруг решительно поставил кружку на стол:

- Пан Скворода, я предлагаю Вам путешествовать со мной. Я еду в Венецию с грузом Майсенского фарфора. Будьте мне товарищем и собеседником в этом путешествии, а все Ваши расходы я беру на себя. Вы куда путь держите?

- Не знаю..., я в Вену направлялся,

- Не стоит! Что есть Вена для философа – пустыня, светская и придворная пустыня, поверте мне, я знаю, что говорю. А Венеция Вам откроет такие тайны, о коих Вы даже помыслить в другом месте не сможете.

- Я слышал, что нигде нет больше забав и веселостей, как в Венеции?

- Это забавы для пустых и праздных людей. А для мужей мыслящих в Венеции припасены иные встречи,

- Что за встречи?

- Сами узрите и сами поймете. Так что, как это говорят по-русски, по рукам? Едете со мной?

- По рукам, - еду!

Они подняли уже снова наполненные кружки пива и сдвинули их так, что пена плеснула на стол.

На следующее утро Сковорода покинул Чешские Будеевицы через Венские ворота вместе с обозом философствующего купца Талиржа.

2

«Из села Ивановки в Петербург, 20 июня 1794 г.

Здравствуй, самый дорогой для меня из самых дорогих, драгоценнейший Михаил! Одна радость у меня осталась в жизни – твои письма. Вчера получил и за день прочитал его раз пять. Ты спрашивашь, отчего я прежде учил вас тому, что прекрасное трудно, что трудно проникнуть в премудрость и искать ее нелегко, а теперь я напротив того учу, что нужное нетрудно, а трудное ненужно. Отвечу тебе словами атостолы: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое». Поелику человек состоит из двух натур – видимой и невидимой. Истинный человек есть дух, а натура видимая, плоть, тело есть лишь тень безбытная истинного человека. И обе сии природы в человеке соединены и каждая имеет свою волю и желание. Ежели жизнью твоею верховодит плотский человек, то тебе вельми трудно будет проникнуть в премудрость, а когда ты станешь руководиться волею своего истинного человека, тогда истина станет для тебя легка. Ведь истинный человек и Бог есть тожде. Библия дышит сим вкусом: «Узнай себя». Как узнать себя? Собери расточенные по пустыням светским, по честолубию, по сребролюбю, по сластолубию мысли твои и войди внутрь себя. Ведь наша мысль – то главный наш человек и есть.

А счастливым быть легко, надобно лишь осматриваться на свою природу, познать самого себя, взяться за свою долю и пребывать с частию всеобщей должности, тебе сродною. Для того потребно избегать четыре главных несчастья:

А. Входить в несродную статью.

Б. Нести должность, твоей природе противную.

В. Обучаться, к чему не рожден.

Г. Дружить с теми, к кому не рожден.

Избегай молвы, объеми уединение, люби нищету, целуй целомудренность, дружись с терпеливостью, водворися со смирением, ревнуй по Господу Вседержителю. Сие иго вельми благо и легко есть. Оно же и есть счастье.

Будь здоров, дражайший мой друг!

Твой душою собеседник Григорий»

... В дверь кто-то робко постучал. Дверь приоткрылась и в комнату заглянула нечесаная голова сенной девки Палашки.

- Чего тебе?

- Барыня велели кофей подать,

- Велели – подай.

Палашка осторожно подошла к письменному столу Сковороды, не отрывая от него полного любопытства и ужаса взгляда. Поставила поднос на стол и пулей вылетела из комнаты.

«Интересно, за кого меня здесь почитает прислуга? Не иначе как за бродячего колдуна. Кто знает, что в голове у русского мужика... всего вероятнее, что ничего...» . Сковорода потянул носом аромат кофе и ему почудилось, что к этому аромату примешивается еще и запах моря. Он вспомнил, где это было...

... Когда вдали показались снежные вершины Альп, Григорий возблагодарил судьбу, что она свела его с этим чешским купцом. Хоть он и был чрезмерно болтлив и почти на

каждую фразу своего спутника раздражался очередной поучительной историей из своей богатой встречами жизни, Сковорода был ему искренне признателен за эту поездку. За эти горы, которые после Зальцбурга окружили их маленький караван со всех сторон. Григорий не мог отвести взгляда от их громад. Он понял, что впервые в жизни видит землю, леса, реки и снега сверху, так как их видит орел, парящий в небе. Только орел все это видит под собой, а он то же самое видит сбоку от себя. Он с удивлением окидывал взглядом размазанное вдоль вертикали время: если в долине был май и уже цвели сливы, то на вершинах еще прочно держался февраль. И чем выше они поднимались по горному серпантину, тем дальше в прошлом он оказывался. Это странное поведение времени в горах сильно волновало его, и что-то подсказывало ему, что это только начало его знакомства со странностями времени, что там, за горами, ему непременно откроются и другие тайны сего странного предмета.

Когда они одолели перевал и начали спускаться в Италию, время бурным потоком устремилось вниз и быстро перегнало оставленный на севере май - на просторе Паданской равнины их уже встречало лето. Здесь уже цвели акации, а в полях и вдоль дороги алели маки. К полудню солнце прогрело воздух до июльского марева, в котором дрожал голос почти украинского жаворонка. Сковороде показалось, что он спустился из Альп где-то поблизости от родной Полтавы, а река По поразила его сходством с Ворсклой. Он будто бы держал путь от Полтавы в сторону Азовского моря и уже убедил себя, что и Адриатика не удивит его ничем. Но подойдя к берегу Венецианской лагуны, он все-таки был удивлен тем, что увидел. А увидел он левый берег Днепра у Киева в тех же протоках, болотах и заводях, в которых ему не раз доводилось бывать. «Стоило ли идти в такую даль, чтобы прийти туда, где уже бывал?», - подумал он в недоумении. Его спутник заметил недоуменный взгляд Григория и засмеялся:

- Погоди, погоди! Вот увидишь Венецию и все станет по-другому!

Работники погрузили товар на фелюгу и они медленно поплыли от одного плоского острова к другому. Острова заросли кустарником, в котором гнездились мириады птиц. От их криков не было слышно голосов друг друга. Григорий с удовольствием молчал и смотрел на зеленую воду, так похожую на речную, но соленую на вкус. «Будто по Днепру плыву», - улыбнулся от сам себе. Но вот фелюга вышла из протоки на стальное зеркало лагуны, усыпанное чешуей парусов, и сейчас же из-за туч выглянуло солнце и осветило город вдаль на длинной полоске острова. Тут Григорий и увидел музыку. Именно увидел, а не услышал, потому что музыка эта вставала из моря ярким узором дворцов и башен и имя ей было «радость». Будто грянул оркестр скрипок и флейт и будто хотел он исполнить торжественный марш, но марш постоянно рассыпался брызгами какого-то радостного танца. Эта музыка звучала в ушах Григория пока они приближались к пристани, и когда он шел к площади Сан-Марко, и когда он переходил по горбатым мостикам через каналы, и когда улыбчивый гондольер вез их с Талиржем на своей лебединой лодке по Гранд-каналу.

- Ну, что ты на это скажешь, Григорий? – спросил его, обводя рукой вокруг себя, довольный собою купец. Сковорода очнулся от своего музыкального наваждения и попробовал рассказать своему спутнику о том, как он слышит Венецию. Талирж выслушал его внимательно, потом посмотрел на него очень серьезно и сказал:

- Я знаю, куда нам должно отправиться сейчас.

Он повернулся к гондольеру и приказал: «Санта Мария делла Пьета!». Тот кивнул головой в ответ и приналег на весло. Их гондола вышла из Гранд-канала, прошла мимо дворца дождей, мимо пристани и причалила возле фасада какой-то церкви с классическим фронтоном и четырьмя полуколоннами. Талирж расплатился с гондольером и повел Григория ко входу в церковь, рассказывая по пути о ней:

- В этой церкви служил великий Антонио Вивальди. Слышал ли ты о таком?
- Нет, кто сей муж?
- Ты не слышал музыку Вивальди? В Праге ее часто исполняют,
- В Праге я не бывал в концертах,
- Ну так услышишь ее теперь! В этой церкви его сочинения исполняют воспитанницы приюта, где обучают музыке. О них говорят, что они молятся на скрипках.
Они вошли в сумрак и прохладу храма, в котором часть пространства сбоку была отгорожена фигурной решеткой. Талирж указал пальцем на эту решетку и приложил палец к губам. Вдруг из-за решетки зазвучала музыка, и Григорий застыл в ней, – это была та самая музыка, которую он слышал в себе весь этот день.
- Что это? – тихо спросил он Талиржа.
- Это зима, - тихо ответил тот.
- Как зима? – не понял Григорий.
- Так назвал этот концерт маэстро Вивальди, - разъяснил Талирж.
- Нет, это не зима. Это Венеция, - убежденно произнес Сковорода.
Они дослушали концерт и тихо вышли на залитую солнцем набережную. Сковорода сосредоточенно молчал, глядя себе под ноги и думая о чем-то. Талирж тоже молчал, ожидая реакции философа. И он не обманулся в своих ожиданиях - Сковорода поднял голову, вдохнул пахнувший морем воздух и сказал:
- Я понял. Я понял, что такое Венеция. Венеция – есть застывшая музыка. А музыка – есть искусство времени, сиречь скульптура времени. А посему Венеция – есть само застывшее время. Или времена! Здесь, когда идешь по городу, то не ведаешь, которое время откроется тебе за поворотом – может окажешься в сегодняшнем дне, а может провалишься на триста лет в прошлое.
Талирж усмехнулся:
- А ты, Григорий, загляни в собор Сан-Марко и провалишься сразу на тысячу лет в прошлое, да еще окажешься не в Венеции, а в Константинополе.
- Вот-вот, именно так! – воскликнул Сковорода, - Здесь можно странствовать во времени, а не в пространстве. Не ведаю, можно ли вообразить себе странника во времени? А пожалуй что и зможно – ведь дерево, к примеру, в пространстве неподвижно, однако во времени растет и при сем заключает в толщине своих ветвей глубину прожитого времени.
- Bravo, пан философ! – оценил его метафору Талирж. Но Сковорода поднял руку, останавливающим жестом и добавил:
- И я даже знаю, как зовется сей странник во времени!
- Как же? – насторожился Талирж.
- Имя ему - художник. Или пиит, или философ - тот, кто возвращает древо культуры.
- Сие есть то самое, что я ожидал от тебя, пан философ Сковорода! – торжественно произнес купец и вытер кружевным платком слезу умиления, скатившуюся по его щеке...

Следующие два дня они почти не виделись: купец целыми днями пропадал на острове Мурано, где со своим венецианским компаньоном покупал и упаковывал груз Венецианского стекла, а Григорий с утра до вечера гулял по улицам и площадям Венеции, с удивлением узнавая то тут то там башни и зубцы Московского кремля. Он зашел в собор Сан-Марко и убедился в правоте Талиржа – в самом деле он очутился в золотом поднебесьи Константинополя, каким тот был лет пятьсот назад. Бродя по городу, Сковорода все время думал о времени. Навстречу ему то и дело попадались нарядные дамы и господа в полумасках, делавших их вид странным и в то же время очень знакомым. «Что они мне напоминают?», - думал Григорий. И вдруг понял: «Театр! Да, да, именно театр. А город сей являет собою не что иное как театральные

подмостки. И невозможно понять, кто скрывается под этими масками, – люди прошлого, представляющие моих современников, или же мои современники, представляющие людей далекого прошлого? И кто эти дамы в масках – благородные дамы, прикидывающиеся куртизанками, или куртизанки, изображающие благородных дам? А господа? – быть может это разбойники, притворяющиеся господами, или это господа играют в разбойников? Все смазано и перепутано, как бывает только на театре». Он вспомнил, как два года назад во время приезда Государыни императрицы в Киевскую академию, студенты, будущие монахи и священники, изображали на сцене античных богов и героев для ублажения высокой гостью. Это тоже выглядело как нечто невозможное и нереальное, но в высочайшем присутствии духовное начальство академии принимало все это как нечто совершенно обыденное. Сковорода извлек из этого хороший урок лицемерия и актерства – Григорий целый месяц изображал безумие, чтобы избежать пострига, пока ректор не исключил его из бursы. Тогда-то он и начал свое путешествие, которое, как оказалось, вело его сюда, в Венецию.

На третий день утром они с Талиржем завтракали на свежем воздухе, напоенном запахом моря и свежесваренного кофе. Море шевелилось в двух шагах от их столика, хлюпая своими мокрыми ладонями по крутым бокам гондол, привязанных к торчащим из воды бревнам. Лодки приплясывали на волнах, вытягивая свои длинные шеи и пытаясь заглянуть в их тарелки. Небо было безоблачное, а море соперничало в своей голубизне с небом. Талирж смотрел, как солнце просвечивает сквозь тончайший фарфор его чашки, которая была частью сервиза, очень выгодно проданного им накануне хозяину гостиницы. При этом он внимательно слушал рассказ Сковороды о его исключении из академии. Дослушав и отсмеявшись, он с вытер слезы своим кружевным платком и с чувством воскликнул:

- Воистину ты философ, Григорий! Бежать от духовной карьеры, которая прямо вела к архиепископской кафедре, мог только тот, кто рожден быть философом. Я могу сравнить твой поступок только с поступком Диогена Синопского, который ответил Александру Великому на его предложение дать философу все, что тот захочет: «Отойди, ты закрываешь мне солнце». Трудно тебе далось твое решение?

- Нет, не трудно. Вообще быть счастливым не трудно, Йозеф. Свет сей подобен театру: чтобы представить на театре игру с успехом и похвалою, то берут роли по способностям. Действующее лицо на театре не по знатности роли, но за удачность игры похвально. Я долго рассуждал о сем и по многом испытании себя увидел, что не могу представить на театре света никакого лица удачно, кроме странника: я сию роль выбрал, взял и доволен ею.

- Bravo, Григорий! Не устаю благодарить судьбу, что она свела меня с тобой. И вот что я тебе хочу предложить: мой компаньон сообщил мне, что в ближайшие две недели с Востока должен прибыть караван кораблей с товаром. Можно будет выгодно купить восточных пряностей, шелка и благовоний. Я решил дожидаться этого каравана. А ты тем временем поезжай во Флоренцию, я дам тебе денег на дорогу. За три дня ты доберешься туда дилижансом через Болонью. Три дня обратно, дней пять побудешь там. Я хочу услышать от тебя, что ты поймешь о Флоренции. Согласен?

- Согласен, конечно! Благодарю тебя, Йозеф! Но не в тягость ли тебе расходы на меня?

- А на что ж еще нужны деньги, как не на то, чтобы что-то понять в этой жизни? А я надеюсь что-то понять в ней через тебя, Григорий. Я купец и деньги на ветер не бросаю! Давай выпьем на посошок, как говорят русские, и я покажу тебе, где шваруется посудина, которая доведет тебя до остановки дилижансов...

«Из села Ивановки в Петербург, 22 августа 1794 г.

Дражайший Михаил!

Есть ли в мире сем занятие более напрасное и одновременно более необходимое, нежели борьба с болезнями старости? Счастье наше есть мир душевный, но старость крадет у нас его ежечасно. Как я борюсь со своей немощью? Гуляю до пруда Панские Штаны и обратно и именую себя за то номадом Панских Штанов. А кочую я только в своей памяти: что было вчера забываю, а что было пол-века назад помню все до мелочи. Вот и плыву по волнам моей памяти в сказочную Венецию да в божественную Флоренцию.

Благодарю тебя, мой дорогой друг, за твое письмо. Ты спрашиваешь меня в нем, что есть суть моего учения. Вот она: Суть три мира. Первый есть всеобщий мир обитательный, где все рожденное обитает. Сей составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый — микрокосм, сиречь мирик, мирок, или человек. Второй мир символический мир, сиречь Библия. Весь мир состоит из двух натур: одна видимая, другая невидимая. Видимая называется тварь, а невидимая — Бог. И сии две природы есть и в великом мире и в малых мирках. Посему внутренний, истинный человек и Бог есть тожде. Человек есть икона Алкивиадская! Если позабыл, что сие означает, перечти наново Платонов «Пир».

Будь здоров, дражайший друг!

Твой друг и собеседник Григорий.»

...«Вот такой теперь я кочевник: сто шагов до пруда, сто шагов обратно, а устаю будто двадцать верст прошел. О старость, старость, сколь тяжело твое объятие», - думал Скворода, опираясь на подаренную хозяином имения кипарисовую трость и с трудом передвигая ноги. Его мир, прежде простиравшийся на всю Малороссию и Украину, да еще прихватывающий и Москву, и Петербург, и даже далекую Италию, теперь съежился до маленькой комнатки с кроватью и секретером и вот этой ежедневной прогулки до пруда со смешным названием «Панские штаны». Он добрал до лавочки, вкопанной по приказанию помещика для дорогого гостя, и тяжело опустился на нее, переводя дыхание. Легкий ветерок гнал по пруду волны, которые спешили улечься у ног странника. Их плеск навевал покой и воспоминания об иных волнах, мутнозеленых и сверкающих на солнце почти пятьдесят лет назад...

... Три дня Григорий наблюдал в окно дилижанса как «украинская» равнина сменялась плавными очертаниями гор, которые после Альп казались просто холмами. Холмы Тосканы были сплошь покрыты лесами: среди светлой весенней зелени дубов и акаций вздымались тут и там темные пики кипарисов и густые кроны пиний. Когда дилижанс первалил через горы, взгляду открылась огромная раковина долины с вьющейся ниткой реки. В перламутровой дымке долины лежала жемчужина города с огромным куполом посередине. Это была Флоренция. Сосед Сквороды, старенький падре, с которым они время от времени перекидывались парой слов на латыни, торжественно произнес: «Флоренция — это цветок из райских кущ, расцветший на земле». Эта фраза потом все время крутилась у него в голове, когда он бродил по улицам и площадям этого удивительного города.

Скворода остановился в гостинице на левом берегу Арно. Комнатка его располагалась под самой крышей и в окно ее заглядывала колокольня церкви Святого Духа. Он просыпался по утрам под звон ее колокола и спешил вниз по крутой лестнице в кованными перилами на узенькую улицу под выступающими до ее середины навесами крыш, которые делали улицу подобием внутреннего коридора. Все улицы стекали к реке, где взгляду наконец открывалось небо. Перейдя через Старый мост, в три этажа застроенный лавками купцов, Скворода углубился в улочки, выводившие

его к Старому замку и дальше к собору, который странно и торжественно именовался «Цветок Святой Марии». Собор потряс его воображение: он был так огромен, что было непонятно, как он помещается на этой площади. Особенно его купол – он просто парил в вышине, а стены собора казалось только дотягивались до него, едва его касаясь. А высоченная колокольня Джотто валилась на голову смотревшего, с какой бы точки он на нее не смотрел. Напртив входа в собор располагался восьмиугольный баптистерий – крестильня. Григорий зашел в нее, поднял голову и вновь оказался под золотым небом Константинополя, как в соборе Сан-Марко в Венеции. Золотая пыль прошедших веков! Когда он снова вышел на площадь, ему показалось, что воздух наполнен какой-то светящейся в лучах солнца дымкой. Тоже прошедшее время? Позже он узнал, что флорентийские художники называли эту дымку «сфумато» и изображали ее на своих картинах. В соборе он поспешил к его центру под куполом, поднял голову и чуть не упал в небо: там, на невероятной высоте, художник изобразил водоворот Страшного Суда, затягивающий взгляд к середине купола. Дивный цветок! Позже он видел изображения Богородицы с цветком белой лилии и вспоминал слова итальянского падре, сказанные ему в дилижансе. Что-то было в этом образе, но он пока не мог ухватить суть его своей мыслью.

На площади Синьории возле Старого замка он остановился, разглядывая статуи в лоджии справа и возле входа в замок. В городе было много статуй - казалось, что город был населен статуями. Но увидев статую Давида работы Микеланджело, Григорий замер и потерял представление о времени. В том, как увидел мастер изображенного человека, заключалось что-то очень важное для него, для Григория. В этой статуе был ответ на вопрос, который Скворода еще не умел сформулировать. Задумчивый, он повернул направо и медленно пошел по направлению к реке. Слева от него тянулась галерея Уффици, которая оказалась открытой. Он вошел в нее и побрел по ее залам, скользя взглядом по полотнам великих мастеров прошлого. И вдруг он снова замер, как перед Микеланджеловским Давидом. Это была картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». И опять то же самое ощущение ответа на произнесенный вопрос. Вот что это! Боттичелли видел свою Венеру теми же глазами, которыми Микеланджело видел своего Давида! И это были не глаза человека, но глаза Бога, смотрящего через художника на человека. «Так вот, что за ответ я слышу, - думал Скворода, - Чтобы увидеть истину в мире сем, сиречь познать сей мир, потребно иное око, иная точка зрения: если бы ты имел в себе истинного человека, мог бы ты его оком усмотреть истину, поелику истинный человек и Бог есть то же». Григорий вздохнул с облегчением и перекрестился, стоя перед Венерой Боттичелли.

Он медленно шел по набережной Арно в сторону Старого моста и думал: «И вот что дивно и чудесно: более ста лет от Джотто до Микеланджело это Божье око передавалось из поколения в поколение, от учителя к ученику. Да и не только художники им владели – а купцы да банкиры местные, разве не тратили свои богатства для украшения родного города? Стало быть и их очи глядели на мир по-Божьи. А ежели весь народ Флорентийский так на мир глядел, то и мир сей становился подобен Царству Божию на земле. Вот в чем секрет: Царство Божие – это мир, который люди видят оком Божьим. Бог есть любовь, как сказано в Евангелии, но не любит сердце, не видя красоты!»

Выйдя на Старый мост Скворода остановился возле бюста Бенвенуто Челлини, оперся на парапет и засмотрелся на реку. Струи мутнозеленой воды сплетались в косы и сверкали на солнце. Он щурился от яркого света и видел даль в сияющей дымке «сфумато»: «Вот что это за дымка – это пыльца с той лилии, которую держит над этим городом в руках своих Пресвятая Богородица. Но разве выпустила она из рук сей дивный цветок после смерти Микеланджело? Отчего же новые поколения флорентцев утратили око Божье? Никак заслонила им очи сытость телесная да сволочь золотой

монеты - возгнездились на капитале, вот и потеряли истинного в себе человека». И тут словно чей-то голос прозвучал в его голове: «Красота спасет мир». Сковорода повторил эту фразу вслух и как оказалось по-латински, потому что в ответ услышал тоже по-латински:

- В самом деле? Вы так полагаете?

Он обернулся и увидел перед собою католического священника в сутане и широкополой шляпе с серебряным крестом на груди. Одутловатое лицо его напоминало лицо римского патриция, колючие карие глаза смотрели как бы поверх головы собеседника, а выразительные губы кривила усмешка мизантропа.

- Прошу прощения, сударь, что вторгаюсь в Ваше уединенное размышление, но высказанная Вами мысль требует существенного дополнения.

- Какого же?

- Красота может спасти только тех в этом мире, кто уже спасен.

- Кем – Спасителем?

Улыбка еще больше скривила губы священника:

- Просвещением, сударь мой, просвещением. Вы ведь, как я понимаю, студент?

- Студент. Григорий Сковорода из России.

- Из России? А я, позвольте отрекомендоваться, Руджер Бошкович из Рагузы. Вы наверное и не слышали о такой?

- Нет, а где это?

- Это там, где кончается Турция, но еще не начинается Венеция. По-хорватски это место называется Дубровник.

- Не слышал.

- Это не удивительно. Удивительно то, что Вы, русский студент, стоите на мосту Понте Веккьо и произносите столь странную фразу на латыни. Где Вы изволили учиться, синьор Сковорода?

- Три года в Киевской академии и семестр в Пражском университете.

- Философию изучали?

- Философию и теологию.

- И теологию..., - задумчиво протянул странный священник, - Ну а математика как, не изучали?

- Нет, меня влекут не Коперниковски сферы, а сердечные пещеры.

- У-у-у, да Вы поэт, сударь! Это еще хуже, чем я предполагал.

- Отчего же хуже?

- Оттого, сударь мой, что Платон в свою академию не допускал тех, кто не знал математики. Или Платон для Вас не авторитет?

- И Платон, и Эпикур, и Марк Аврелий...

- ...Я так и думал. Еще и Диоген со своей бочкой. А как же насчет Демокрита и Лукреция?

- Вы об атомах изволите говорить, синьор Бошкович?

- Именно об атомах, сударь мой. Ибо я, изволите ли видеть, вот уже пять лет преподаю математику в Римском коллегииуме и учу моих студентов атомам.

- Что нам за дело до бездушных атомов?

Глаза Бошковича неожиданно вспыхнули и взгляд его уперся прямо в глаза Григорию:

- А вот в этом Вы, сударь мой, натурально заблуждаетесь – они не бездушные вовсе! – последнюю фразу он произнес понизив голос до шепота и быстро оглянувшись на бюст Бенвенуто Челлини, будто тот мог их подслушать.

«Безумный!» - подумал Сковорода и тоже автоматически глянул на бюст Бенвенуто Челлини. Но в следующее мгновение Бошкович уже совершенно нормальным голосом спросил:

- А Вы не голодны случайно, синьор Скворода? Не продолжить ли нам нашу ученую беседу за хорошим обедом? Тут недалеко есть приличная таверна.

- С большим удовольствием, синьор Бошкович, - с облегчением отозвался Григорий. Они прошли шагов двести и оказались перед дверями с колокольчиком, над которыми висела надпись: Белая лилия. «Ну конечно, как еще может называться таверна во Флоренции?» – мысленно улыбнулся Скворода. Хозяин таверны суетливо приветствовал вошедших и с поклоном принял шляпу падре. Людей в заведении было немного. Они уселись у маленького окошка. На столе мгновенно появились два стакана, в которые хозяин налил красного вина из запотевшего глиняного кувшина. «Паста пармиджано-реджано», - произнес Бошкович с видом знатока. Хозяин поклонился и исчез в дверях кухни, но буквально через минуту появился оттуда снова с двумя тарелками в руках. Он поставил их перед гостями и с поклоном пожелал приятного аппетита.

Бошкович поднял стакан с вином и торжественно произнес:

- Гаудеамус игитур! Виват Академия!

- Вивант профессорес! – отозвался Григорий. Они чокнулись и выпили. Потом оба погрузились в сражение с длинными макаронами, быстро склеивающимися расплавленным сыром. Ели молча. Первым молчание нарушил Бошкович, с грустью взиравший на то, как Скворода все еще мучается со своей порцией:

- Вот Вы, синьор Скворода, говорите душа, - хотя Скворода молча жевал и ничего не говорил, - а слышали ли Вы об учении великого Лейбница о монадах?

Скворода что-то промывчал с набитым ртом и отрицательно покачал головой.

- Я так и думал, - скривил губы Бошкович, - философствующие поэты не читают настоящих философов. А между тем Лейбниц в своей «Монадологии» наделил атомы собственной внутренней жизнью, собственной душой, которая, однако, никак не проявляется вовне, ибо по его словам, монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти. Поэтому монады и выглядят в нашем мире как атомы Демокрита. Но на самом деле, согласно Лейбницу, не существует совершенно неодушевленной природы. Лейбниц говорит, что монады, которые основывают явления неодушевленной природы, на самом деле находятся в состоянии глубокого сна. Жизнь появляется тогда, когда атомы пробуждаются. Из таких пробудившихся атомов состоят живые существа. Души этих монад тоже объединяются и образуют душу животного или человека. Разум человека – это тоже такая объединенная монада. И разумные души монад представляют собой отображение самого Творца. Только большинство монад в нашем мире это спящие монады. Скворода уже не жевал, но внимательно слушал Бошковича и жадно ловил каждое его слово. Бошкович сделал большой глоток из своего стакана, а Григорий воспользовался этим и спросил:

- Скажите, синьор профессор, следует ли так понимать, что вся Вселенная в целом устроена так же как отдельный человек, то есть имеет свое тело из атомов и свою душу из душ монад и свой разум, который есть разум Творца?

Бошкович поставил стакан на стол и одобрительно покивал головой:

- А Вы умеете схватывать главное, синьор Скворода! Все именно так и обстоит: человек есть микрокосмос, а Вселенная есть макрокосмос. И поскольку Бог отображается в том и в другом, постольку человек и способен воспринимать красоту мира сего, о чем Вы изволили говорить на мосту. Только вот похоже, что не у всех людей душа пробудилась, большинство – это спящие монады Лейбница. И чтобы таких могла спасти красота, как Вы изволили выразиться, нужно их пробудить. То есть просветить. Точнее - принудить к просвещению! Потому что большинство это все

время пытается встать на четвереньки, захрюкать и бежать размножаться, задрав хвост. Таких красота не спасет!

- А спасете их Вы и Ваш Орден, «к вящей славе Божией»?

Бошкович вздрогнул, и метнул на Сквороду гневный и настороженный взгляд:

- А Вы не так просты, как кажитесь, молодой человек. Как Вы догадались, что я иезуит?

- Просто мне приходилось общаться с Вашими соратниками во время учебы в Киеве.

Бошкович помолчал, крутя в руке пустой стакан, и потом сказал усталым голосом мизантропа:

- А знаете, синьор Скворода, мне нащ Орден представляется этаким Атлантом, который пытается удержать на своих плечах христианскую цивилизацию, а вместе с ней и всю нашу культуру от нового варварства, которое лезет уже из всех щелей современной жизни. Если мы не удержим, если не устоим, все обратится в прах – захрюкают и побегут размножаться. А Вы говорите: «Красота-а». Кому красота? Сказано же в Евангелии: «Не мечите бисер перед свиньями».

Они замолчали. Подскочил хозяин таверны и снова наполнил их стаканы. Скворода решил сменить тему разговора:

- Повольте спросить, синьор профессор, если не красота, то что привело Вас во Флоренцию?

- Просвещение, молодой человек, просвещение. Я ищу рукописи великого Леонардо, вот хочу покопаться в местном архиве.

- Леонардо, это художник?

- Художник? О санкта симплицитас! – вздохнул Бошкович, - Ну и художник, конечно, но главное – величайший ученый и инженер. Величайший после Архимеда! Кстати, Вы еще не бывали в здешней библиотеке? – Здесь замечательная библиотека. Боковины столов там расписаны самим Микеланджело! Приходите туда завтра с утра, там и встретится.

Они простились перед таверной, и Скворода, утомленный впечатлениями первого дня, побрел в свою гостиницу, поднялся по крутой лестнице в комнатку под крышей, бросился на кровать и мгновенно заснул. Утром он разыскал библиотеку, вошел в читальный зал со столами, помнящими кисть Микеланджело, и решил ознакомиться самостоятельно с «Монадологией» Лейбница. Но ее в библиотеке не оказалось. Зато оказался латинский перевод Платоновского «Пира», который он давно мечтал прочитать. Бошковича нигде не было видно, поэтому Григорий погрузился в текст диалога. Он дошел до того места, где Алкивиад сравнивает Сократа с фигуркой козлоногого сатира, какие бывают в мастерских ваятелей. Если заглянуть под смешную и безобразную оболочку такого сатира, «то внутри у него оказываются изваяния богов». Скворода оторвался от чтения: «А ведь это о том же – о внутреннем человеке, который прекрасен, даже если внешний плотский человек безобразен как сатир, и который способен воспринять красоту, имея око Божие». Он просидел в библиотеке до ее закрытия, Бошкович так и не появился. Больше они никогда не встречались.

Еще три дня Скворода наслаждался красотой Флоренции, потом три дня трясся в дилижансе по уже знакомой дороге и успел добраться до Венеции как раз в тот день, когда Талирж уже занимался погрузкой закупленных товаров на фелюгу. Там, у пристани, они и встретились. Купец обрадовался своему спутнику, обнял его и сразу замахал руками:

- Потом, потом! Не сейчас – в дороге у нас будет время на рассказы о Флоренции. А сейчас ты мне, Григорий, скажи одно – что ты понял во Флоренции?

Скворода обвел взглядом вечную сказку белых дворцов, голубого неба и зеленоватого моря и сказал:

- Царство Божие – есть наш мир, который мы увидели оком Божиим, живущим внутри нас.

Талирж застыл, перваривая сказанное. Потом обратил на Сковороду полные слез глаза и воскликнул растроганно:

- Ай да Григорий, ай да сукин сын!..

«Из села Ивановки в Петербург, 28 октября 1794 г.

Дражайший Михаил!

Дни мои сочтены - я чувствую, что жить мне осталось недолго. В последнем письме ты вопрошаешь меня о Библии: Как понимать, что в иных своих писаниях я говорю, что все сие есть письмозвонство и пустые иудейские и бабьи басни, а в иных писаниях говорю, что Библия есть совершеннейший и мудрейший орган и больница горняя? А еще я говорил, что Библия есть сфинкс, загадку которого разгадывать жизни не хватит. Мы ведь говорили об этом в нашем «Харковском университете», если помнишь. Суть сфинкса сего именуется символ. Весь мир вокруг нас состоит из символов и сам есть символ, поелику всякий предмет или существо, и даже сами атомы содержат в себе Бога, которым и сотворены. А посему и являются символами Бога. Вот об этой главной загадке мира и говорит нам Библия. И тайна символа велика есть. И если душе моей суждено будет заново облечься в тело, как о том учил Ориген Александрийский, то я уверен, что родившись и через сто лет, буду я вновь размышлять над природой символа. Так ли будет на самом деле, мне уже скоро узнать суждено.

Прощай, дражайший друг!

Вечно твой старчик Григорий»

...Сковорода посмотрел в окно: резкий холодный ветер швырял ему в лицо струи дождя и ржавые листья яблонь. По низкому небу мчались серые тучи. Как будто занавес опускался на всю его длинную жизнь: «Ну, как я представил на театре света свою роль? Где аплодисменты публики?». Он встал, тяжело опираясь на свою трость, сделал два шага к кровати и опустился на нее. Затем лег, вытянул ноги и прикрыл глаза рукой. Ему представился любезный его сердцу Харьков, его ученики и он сам, еще не старый и полный сил...

... В 1769 году Харьков уже перставал быть полковым городком, но еще не стал вполне губернским городом. От казацкой крепости в нем оставались ветшающие стены и названия бывших ворот, а от губернской столицы в нем был только генерал-губернатор и Харьковский коллегиум. Именно покровительством генерал-губернатора Щербинина и был уже в третий раз принят на преподавательскую должность в коллегиум Григорий Сковорода. По настоянию губернатора в коллегиуме были организованы Дополнительные классы по подготовке кадров для статской службы на Слободской Украине. В этих классах и встретил Сковорода своих мальчиков, оставшихся его учениками на всю жизнь. Официально он числился учителем катехизиса, но учил он их той философии, какую сам собою представлял. Обучение это протекало не только в классах коллегиума, но главным образом за его пределами. После обязательных лекций, они шумной компанией отправлялись за город по пыльной Сумской улице, выходили за уже несуществующие ворота на Сумской шлях и углублялись в дубовую рощу на холме. Здесь был их университет. Сковорода называл его «Дополнительными классами дополнительных классов» или «Харьковским университетом». Его мальчики улыбались этим названиям, а он совершенно серьезно говорил:

- Пошто зубы скалите, молодики? Вот увидите, будет на сем месте университет как в Москве. А вот Густик станет в том университете профессором!

Мальчики смеялись, толкая красневшего от смущения застенчивого Густика де Кальве. Его мальчики: Миша Ковалинский – дражайший друг на всю жизнь, Андрюша Ковалевский, у которого уставший странник найдет приют в конце своей жизни. А пока – пока они все молоды, с румянцем на щеках, еще на знавших бритвы, с горящими Платоновским эросом глазами. А вокруг них украинское лето, птицы щебечут среди дубовых ветвей, бабочки порхают с цветка на цветок, огромные жуки с жужжанием проносятся над их головами, небо глубокое и голубое, как обещание Царства Божьего. Мальчики расположились вокруг огороженного дуба, а он сидит, опершись о него спиной, и чувствует себя Платоном в роще Академа:

- Сие и есть лучший из университетов земных, - сказал Сковорода, обводя рукой вокруг, - такова была академия Платона, таков же был и ликей Аристотеля, таков же и сад Епикура: «Так живал афинейский, так живал и еврейский Епикур – Христос», - прочитал он строчку из своих виршей и улыбнулся мальчикам. Но с их лиц вдруг исчезла улыбка, в глазах появился испуг, и они недоуменно переглянулись между собой. Тень пробежала по лицу Сковороды: «Ну вот, опять я попал как кур в оцип. Зачем я взваливаю на сих детей непосильную для них ношу вольного рассуждения. Кто-нибудь из них не сдюжит и донесет префекту коллегіума и еписком Самуил, вечно второй студент в Киевской академии, непременно показать, кто из нас двоих тогда был первый, и выгонит меня в очередной раз. Тут уж и губернатор не поможет. А и будь что будет! Выгонит так выгонит: кто я есть в мире сем – странник или учитель с годовым содержанием в 23 рубли?». Он снова улыбнулся мальчикам, поднял руку и продекламировал:

«Жив Бог миросердый, я его люблю.

Он мне камень твердый; сладко грусть терплю.

Он жив, не умирая, живет же с ним живая

Моя и душа.

А кому он не служит, пушай тот бедный тужит
Прямой сирота.

Хочеш ли жить в сласти? Не завидь нигде.

Будь сыт з малой части, не убойся везде.

Плюнь на гробныя прахи и на детские страхи;

Покой — смерть, не вред.

Так живал афинейский, так живал и еврейский
Епикур — Христос.»

Мальчики заулыбались. Сковорода прищурился хитро и спросил:

- Что, молодики? А так вирши мои уже не вводят в соблазн и ересь? То-то и оно - вынь слово из песни и уж можешь его вертеть как пожелаешь: черное станет белым, а белое черным.

Миша Ковалинский спросил:

- Скажите, Григорий Саввич, а что есть Бог для Вас?

Сковорода подумал, опустив голову, и ответил:

- Бог есть все для меня.

- А мир? – спросил Миша.

- И мир есть все, Миша. Бог и мир, сиречь всеобщая мати наша натура, есть тожде. Мир сей безначален и символ его есть змий, в коло свитый, свой хвост своими ж держащий зубами. Знай же, что змий сей и Бог есть тожде. И Библия есть и Бог, и змий. Поелику в ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были

монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной природы, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих.

- Как сие разуметь, Григорий Саввич? – спросил Андрюша Ковалевский.

- А так, Андрюша, что всякая вещь имеет внутри себя свой рисунок, сиречь план. Планом все-на-все создано и слеplено, и ничто держаться не может без него. Он всему материалу есть цепь и веревка.

- Кто ж творец сего плана? – спросил Густик.

- Слово Божие, советы и мысли его – сей есть план, по всему материалу во Вселенной нечувствительно простершийся, все содержащий и исполняющий. Постичь сей план и есть цель философии. А посему должны мы в познании философском пройти между курганами буйного безбожия и подлыми болотами рабострастного суеверия. И поводом у нас должно быть разумение и мудрость.

И он снова поднял руку и продекларировал:

«У греков звалась я София в древний век,
А мудростью зовет всяк русский человек,
Но римлянин меня Минервою назвал,
А христианин добр Христом мне имя дал»

- Бог есть истина, також и истина есть Бог, потому Платон для нас боговидец. Он постиг невидимую природу мира и человека, сиречь макрокосма и микрокосма. Но есть еще и третий мир – Библия, невидимая природа коей суть следы Божьи. Ступая по ним, человек приходит к познанию своей невидимой природы, где истинный человек и Бог есть тожде. Тут взволнованный сказанным Миша Ковалинский почти перебил учителя:

- Ежели каждый из сих трех миров имеет своей невидимой природой единого Бога, тогда и видимые природы сих миров должны быть подобны между собой?

- Изрядная мысль! Молодец, Миша! – похвалил его Сковорода, смутив и обрадовав этим юношу. Потом он поднял палец, сделал страшные глаза и понизив голос сказал:

- Чуете будто запахи платоновские идеи? Это Миша Ковалинский их разбудил! Мальчишки заулыбались.

- Чему смеетесь, молодики? Миша заметил то, чему Платон дал имя идея, а в наш век ученые мужи именуют символом. Все в мире сем, каждый предмет его символизирует Бога. Даже атомы, из коих все сложено, заключают в себе подобие спящей души, как то утверждает философ Лейбниц. А стало быть и атомы являются символами своей невидимой природы, имя коей Бог. Что уж говорить о более сложных вещах и существах – все они суть символы.

- Но тогда, - почти вскричал всегда тихий Густик, - тогда получается, что мертвая материя, к примеру, мир минералов должна быть символически связана с миром растений, а тот, в свою очередь, должен быть символом животного мира! И окажется ли символическая связь вещей еще одной причиной в дополнение к четырем известным причинам Аристотеля? Или кауза симболикус и кауза формалис есть тожде?

Мальчишки с уважением посмотрели на Густика, а Сковорода торжественно произнес:

- Вот Вы, господин профессор будущего Харьковского университета, и разьясните сей вопрос в Вашей ученой работе, - а потом с грустью добавил, - И помяните меня в царствии своем.

Густик снова стушевался и покраснел, но мальчишки уже не смеялись над ним.

Сковорода улыбнулся своим ученикам и весело воскликнул:

- Ну а теперь все идем ко мне напиться телесного нашего болвана, дабы от него не осталась одна тень истинного человека!

Они поднялись и весело болтая двинулись обратно через бывшие Сумские ворота, по пыльной Рымарской улице среди казачьих мазанок к центру города, где у самого Бурсацкого спуска возвышался двухэтажный кирпичный дом купца второй гильдии

Степана Никитича Курдюмова. Здесь в глубине утопающего в сирени сада, во флигельке квартировал Григорий Саввич Сковорода. Столовался он у Курдюмова и часто не один, а приводил с собой ораву своих студентов к вящему удовольствию супруги купца добрейшей Пульхерии Ивановны, для которой вкусно накормить гостей было смыслом ее нехитрой жизни. И в этот раз, заметив входящих на двор «пана философа» со «спудеями», она вся засияла добрым своим лицом и погнала прислугу накрывать стол на веранде. Скоро на покрытом белой скатертью столе дымился в тарелках борщ такой лиловой красноты, как будто он целый день лежал на солнце и обгорел. Среди борща высились островки белой сметаны, а рядом на тарелочках млели пампушки с чесночком. «Спудеи» захлебывались слюной и не могли произнести слова благодарности, их выручил Сковорода. Мальчишки набросились на еду с яростью молодости, а Пульхерия Ивановна все ходила вокруг и причитала: «Ах вы бедненькие, совсем истощали со своим учением!», и все подкладывала им куски побольше да пожирнее.

После обеда студенты расходились по своим квартирам, а Сковорода ложился на часок вздремнуть в своем флигельке у открытого окошка. А потом наступал вечер. Степан Никитич возвращался домой. На веранду выносили огромный двухведерный самовар и начиналось бесконечное чаепитие с горячими бубликами и вишневым вареньем в вазочках. Степан Никитич насаживал на нос очки в золотой оправе и раскрывал Священное Писание. Он зачитывал оттуда особо важные для него места, а Сковорода комментировал их. Пульхерия Ивановна молча вязала в своем кресле, краем уха слушая разговоры мужчин. С веранды открывался чудный вид на Лопань, муравейник базара за мостом, купола и колокольню Благовещенского собора. Солнце медленно пряталась за собор, зажигая розовым сиянием его золотые кресты. В воздухе собиралась дымка «харьковского сфумато», но не золотистого, как во Флоренции, а какого-то персикового цвета. Базарные торговцы, ночующие при своем товаре, поили лошадей и быков в реке, слышалось далекое ржание и мычание, звякала уздечка в тишине вечера, с резким писком проносились над самой верандой ласточки и стрижи. А в саду сладким запахом истекал куст жасмина. Сковорода отхлебнул ароматного чая и подумал: «Ежели сие не само счастье, то что сие есть? Счастливым быть легко... легко... тепер уже совсем легко...»



Последнее пристанище Сковороды в доме А.И. Ковалевского в Ивановке

Имение «Ясенева поляна», май-июнь 2017